

Н. Найт

«СПАСАТЕЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ» И ПРИЕМЛЕМОЕ ПРОШЛОЕ: РОССИЙСКИЕ ЭТНОГРАФЫ ПРОТИВ НАСЛЕДИЯ ТЕРРОРА

**Репрессированные этнографы. Составитель и ответственный редактор
Д.Д. Тумаркин, Москва, «Восточная литература» РАН, 1999 год, 341 стр.**

N. Knight. «Salvage Biography» and Useable Pasts: Russian Ethnographers Confront the Legacy of Terror

This is a review of the book *Repressirovannyye etnografy*, compiled and edited by D. D. Tumarkin (Moscow: «Vostochnaya literatura» PAN, 1999, 341 p.). The articles of the reviewed volume are well researched and contain a wealth of valuable information stretching over an entire century from the 1870s to the 1970s. As a whole, the volume is a major contribution to the history of Russian ethnography and will be of value more broadly to anyone interested in intellectual history and the intersection of scholarship, ideology and the Soviet state. Though the main focus is not the persecution itself, but rather on the individuals as ethnographers—their educations, professional careers, ideas, interests and contributions to the field.

Such an orientation is no coincidence. Underlying the volume, fundamentally, are questions of continuity and scholarly identity: how are present-day Russian ethnographers to come to terms with their troubled past?

Влияние репрессивных мер, принятых против ученых в ранний период советской истории, является центральной темой недавних российских и западных исследований по истории советской науки.¹ Этнография предоставляет значительный материал для этой области исследований. Хотя этнография как наука и не была объявлена вне закона, как это, например, случилось с генетикой, кибернетикой или педологией, ее ведущих деятелей заставили замолчать, прибегнув к убийству, заключению или террору. Ее статус был сильно занижен; наука вынуждена была функционировать в сводящих ее на нет идеологических рамках. В относительно непрерывных традициях русской этнографической мысли 1930-е и 1940-е гг. выглядят зияющей бездной. Книга «Репрессированные эт-

нографы» отмечает кульминационный момент в продолжающихся попытках вернуть утраченное наследие ранней советской этнографии путем восстановления имен, репутации и работ ученых, увязших в сетях репрессий. Написанная коллективом авторов эта книга состоит из двенадцати портретов этнографов, пострадавших от преследований, длившихся с 1917 г. до смерти Сталина, и представляет широкий спектр их интересов и специализаций.² Материал статей хорошо исследован и содержит массу информации по целому столетию, с 1870-х до 1970-х гг. В целом книга вполне дополняет историю русской этнографии и будет весьма полезна для любого читателя, интересующегося интеллектуальной историей и проблемой пе-

¹ См., например, Ярошевский 1991: 9-33; Решетов 1994: 185-221; Соловей 1998; Добкин, Сорокина 1995; Леонов 1993; Loren R. Graham 1987; Loren R. Graham 1990; Paul R. Josephson 1996; Mark B. Adams 1990: 153-216. Литература по истории науки раннего Советского периода в основном подчеркивала роль репрессий и идеологического извращения науки. В недавних же работах авторы сделали акцент на роли, которую сыграли сами ученые в создании системы, которая оправдывала их бездеятельность. См., например, Loren R. Graham 1998; Krementsov 1997; Kojevnikov 1998: 22-52; Slezkine 1996: 826-862.

² Обсуждаемые этнографы (и уважаемые авторы): Александр Васильевич Адрианов (М.А. Девлет), Бернард Эдуардович Петри (А.А. Сирина), Николай Николаевич Козьмин (А.М. Решетов), Анатолий Несторович Генко (Н.Г. Волкова, Г.А. Сергеева), Георгий Александрович Кокиев (Ю.Д. Анхабадзе), Федор Артурович Фильстрап (Б.К. Карамышева), Алексей Николаевич Карузин (М.М. Керимова, О.Б. Намумова), Николай Иосифович Конрад (Р.Ш. Джарылгашинова, М.Ю. Сорокина), Петр Федорович Преображенский (Ю.В. Иванова), Наталья Ивановна Лебедева (Н.С. Полищук), Борис Осипович Долгих (С.И. Вайнштейн) и Нина Ивановна Гаген-Торн (Г.Ю. Гаген-Торн).

ресека науки, идеологии и Советского государства.

Следует, однако, отметить, что статьи посвящены не одним только преследованиям. Читатель почерпнет немного новых сведений о подробностях Гулага; ему встретятся всего несколько душераздирающих сцен пытки и допроса или намеков на них: вдове Ф.А. Фильстрапа доктор «большого дома» в Ленинграде сказал, что ее муж умер, захлебнувшись кипятком, в ходе допроса (стр. 161-162); А.Н. Генко, умирающий от истощения в одной из камер ленинградской тюрьмы в декабре 1941 года всего через несколько месяцев после ареста (стр. 109); поразительная фотография П.Ф. Преображенского, глядевшего на своих преследователей с абсолютным спокойствием и сознанием своего морального превосходства (стр. 243); Н.И. Гаген-Торн, благородная интеллигентная женщина средних лет, обрушившая на своего мучителя после второго ареста поток отборного русского мата, — навык, приобретенный в течение ее первого пребывания на Колыме (стр. 327)³. Для исследователей истории сталинского террора книга прольет свет на некоторые мало известные «дела» начала 1930-х гг., такие, как, например, так называемое дело Русской Национальной партии 1934-го года, по которому пали жертвами Н.И. Лебедева и Ф.А. Фильстрап.⁴ Однако главным во всех этих очерках остается показ этих людей как этнографов, т.е. рассказ об их образовании, профессиональной карьере, идеях, интересах и вкладе в науку.

Такое направление — не случайность. Фундаментальными в книге являются вопросы преемственности и схожести ученых, — каким образом современные ученые приходят к примирению со смутным прошлым? С одной стороны, этнографы могут опереться на богатые традиции и литературное наследие, восходящие к XVIII веку. Но эти традиции были резко оборваны событиями 1930-х гг. Оживленная и плюралистическая ученая среда была искоренена внедрением обязательной и в большинстве своем неуместной идеологии: как показал Юрий Слезкин, найти кулаков и пролетариев среди пастухов северных оленей — непостоянная задача.⁵ Даже полевые работы, определяющая черта этнографии как дисциплины, часто становились совершенно бессмысленными действиями. Представьте себе, например, положение Б.О. Долгих и его учеников, специалистов по народам Севера, вынужденных писать

пылкие акколады успеху советского строя на Крайнем Севере, в то время как люди, которых они изучали, были буквально на грани истощения (стр. 294-297). А потом был и сам террор. Как всегда точные цифры вводят в заблуждение, тем более что этнографами часто считались ученые из различных родственных дисциплин. Все же более пятисот этнографов могли быть подвержены преследованиям, начиная с 1920-х гг.⁶ Для такой сравнительно небольшой области результат мог оказаться катастрофическим.

Как нынешние этнографы должны осмыслить наследие своих предшественников? Нужно ли им отбросить советское прошлое как ничемные осколки тоталитаризма, бросаясь в объятия гегемонии англо-американской теории и присоединяясь к своим западным коллегам, плутающим в туманных лабиринтах постмодернистской антропологии? Или все же можно что-нибудь спасти? Что именно было утеряно при Сталине и стоит ли это возрождать? Востребованное ли прошлое у русской этнографии? В то время как эти вопросы редко становятся объектом непосредственного изучения, они красной нитью проходят через всю книгу и являются составной частью более масштабного процесса возрождения.

Выбранные этнографы прекрасно демонстрируют широту данной области науки в период до 1930-х гг. Географически специализация варьируется от Кореи и Японии (Н.И. Конрад) до Сибири (А.В. Адрианов, Б.Е. Петри, Н.Н. Козьмин и Б.О. Долгих), Кавказа (А.Н. Генко, Г.А. Кокеев), Центральной Азии (Ф.А. Фильстрап), европейской части России (Н.И. Лебедева, Н.И. Гаген-Торн) и Балкан (А.Н. Харузин). Этнографические интересы включают музейную этнографию, исследование материальной культуры, этногенез, этнолингвистику, физическую антропологию, археологию и этнологическую теорию. В концептуальных подходах этнографы варьируются от классических эволюционистов до марристов, марксистов, диффузионистов, релятивистов и дотошных эмпириков. Большинство, однако, были учеными широкого профиля, игнорировавшими узкую классификацию.

С учетом коллективности работы статьи раз-

³ Более подробно жизнь Гаген-Торн изложена в ее мемуарах: Гаген-Торн 1994. Позднее она подружилась с одним из своих исследователей, который извлек пользу из ее жизненного опыта для того, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам по истории.

⁴ См. также Ашнин, Алпатов 1994.

⁵ Yuri Slezkine, *Arctic Mirrors* 1994: 187-217.

⁶ Цифра в 500 этнографов, пострадавших от репрессий, начавшихся с 1920-го года, приведена Александром Михайловичем Решетовым в книге «Репрессированная этнография: люди и судьбы» (Решетов 1994: 186-187). Но, как указывает во вступлении к книге Тумаркин, выявление точной цифры осложняется тем, что этнография частично совпадает с другими областями, такими, как востоковедение, лингвистика, история, археология и география («Репрессированные этнографы», стр. 7). Но все же оценка Решетова, даже если она лишь отдаленно точна, говорит о катастрофе. Забегая вперед, согласно Ю.В. Ивановой, всего лишь около сотни этнографов работало во всех научных институтах Москвы и Ленинграда в 1929 году (Там же, стр. 253).

личаются по качественным характеристикам. Однако, по большей части, редакторам удалось достигнуть высокого уровня научности статей. Все работы основаны в некоторой мере на архивных источниках, часто включая собранную ОГПУ и НКВД информацию. А несколько авторов сумели дополнить письменные источники личными воспоминаниями о своих героях.

Статьи придерживаются определенного плана. В целом они начинаются с описания карьеры ученого, завершаясь отчетом как, где и когда он подвергся политическим репрессиям. Затем авторы переходят к науке, фокусируя внимание на основных трудах, вкладе в отрасль, ключевых идеях и т.д. Следствие такого подхода — смешение результатов. В некоторых случаях, как биография, так и научная часть могут быть довольно поверхностными, т.е. одно достижение перечисляется за другим, а живая личность лишь немного проглядывает из-за стены ученых степеней, назначений и публикаций. Однако многие статьи преодолевают эти недостатки, и поэтому их особо приятно читать.

Например, написанный М.А. Девлетом портрет А.В. Адрианова. Адрианов был сыном священника из Тобольской губернии. Учился в конце 1870-х гг. в Санкт-Петербургском университете, где подружился с известными сибирскими краеведами Н.М. Ядринцевым и Г.Н. Потаниным. Его карьера этнографа началась в 1879 году, когда он сопровождал Потанина в экспедиции в Монголию. Остаток жизни он провел в Сибири в борьбе за выживание семьи, в поединке с сифилисом, длившимся всю его жизнь, периодически сталкиваясь с местными властями и продолжая заниматься этнографией с преданностью, граничащей с одержимостью. Не последним из его достижений были фотографические съемки в этнографических исследованиях.

Включение в книгу истории Адрианова выявляет несколько важных моментов. Во-первых, его карьера напоминает нам, что политическое преследование этнографов не было уникальным явлением в советский период истории. Этнография часто изображается как служанка империализма⁷, но опыт Адрианова показывает, как цели этнографии по самой своей сути могли быть палкой в колесах имперских властей. Этнографы были аутсайдерами, совавшими нос в закрытые патриархальные круги местного чиновничества, обнажая злоупотребления, выслушивая рассказы туземцев, помогая и утешая шаманов и других сомнительных личностей. Конечно, среда сильно нуждалась в способных образованных людях, и этнографы часто вовлекались в чиновничий мир. Сам Адрианов 23 года служил в Управлении акцизными сборами Западной Сибири. Но как только он стал заниматься этнографией, резко возросло напряжение в его отношениях с властью

ми, которое наложило серьезные ограничения на возможность продолжения исследований и привело в итоге к его аресту и ссылке в 1913 году. Приход большевиков принес Адрианову окончательную гибель. Как ярый противник Октябрьской революции, он был арестован в конце 1919 года, когда Красная армия взяла Томск. Его расстреляли седьмого марта 1920 года в составе группы из двадцати шести «активных врагов советской власти».

Биография Адрианова также иллюстрирует чувство гражданской ответственности, которое заполнило работы этнографов XIX века в общем, и исследователей Сибири в частности. Этнография, по Адрианову, это составная часть общественной жизни. Как газетный издатель, автор, пишущий статьи в «толстые журналы», сотрудник научных обществ и организатор выставок, Адрианов представлял свои этнографические интересы как часть более широкого проекта по просвещению и воспитанию региональной общественности. Оценивая последствия воздействия советской власти на этнографию, подавление именно этой традиции общественной деятельности выступает как одна из самых больших потерь.

Еще один выдающийся портрет — эссе С.И. Вайнштейна о Б.О. Долгих, основанное на личных воспоминаниях. История Долгих — это история выживания, история человека, в котором совмещалась абсолютная преданность своим научным занятиям со способностью лавировать между бурными политическими и идеологическими течениями, сохраняя свою честь незапятнанной. Свою этнографическую карьеру Долгих начал со знаменательного путешествия в Арктику, где собирал материалы по северным народам для всеобщей переписи населения 1926 года. По возвращении он поступил в МГУ, однако дни его как студента были сочтены. В 1929 г. он был арестован за критику коллективизации в компании своих сверстников. Судьба его, однако, была облегчена своевременной удачей. В ходе допроса следователь внезапно вышел из комнаты, оставив на столе перед Долгих главное доказательство его вины — не отправленное письмо другу, в котором Долгих от души проклинает «раскулачивание». Ученый мигом схватил письмо, разорвал его на куски, запихнул их в рот и проглотил. Без этого письма в деле против Долгих осталось очень мало оснований, и он получил сравнительно мягкий приговор — 4 года административной ссылки в Сибирь. После окончания ссылки он остался в Сибири и жил в вопиющей бедности, участвуя в экспедициях на Крайний Север и работая в музее региональных исследований в Красноярске. Быстро организованная экспедиция вверх по Енисею позволила ему избежать ареста в 1937 г. Начиная с середины 1940-х гг. Долгих работал в Москве в Институте этнографии при Академии наук,

⁷ См., например, Mary Louise Pratt 1992.

где он стал известен как один из выдающихся специалистов по народам севера Сибири.

Если Долгих является примером этнографа, пережившего преследования, то что же тогда можно сказать об этнографии, выжившей вместе с ним? Каким образом испытания 1930-х и 1940-х гг. ограничили возможности, открытые для исследователей последующих лет? Из вайнштейновского портрета Долгих и некоторых других статей проступают некоторые черты ответа на этот вопрос. Во-первых, практиковавшаяся Долгих и его коллегами этнография, прежде всего, была исторической наукой: современная жизнь выступала, в первую очередь, как символический конечный пункт, по направлению к которому двигались исторические процессы, изучаемые этнографами. Центральным понятием этнографических исследований была этническая группа или этнос, определяемый априори как культурная, а в некоторых случаях и биологическая общность. Задачей этнографа было найти корни этногенеза, зафиксировать определяющие его культурные черты (наиболее полно выраженные в «материальной культуре»: домашняя утварь, жилища, транспорт, одежда и т.д.) и проследить его историческое развитие и взаимодействие с другими этническими группами. Выполняя эти функции, этнографы старались собрать наибольшее из возможных количество доказательств, среди которых не было ни одного факта настолько незначительного, чтобы его не было необходимости зафиксировать. Все эти особенности очевидны в последних работах Долгих. Наибольшим его достижением была монография «Родовой и племенной строй народов Сибири в XVII веке» — изнуряющий список сибирских народов XVII века, составленный в течение многих лет усердной работы в архивах. Вайнштейн описывает радость Долгих, когда тот находил небольшой фрагмент мозаики поселений именно тунгусского (эвенского) рода. Даже не вставал вопрос, к чему могла привести такая микроистория: для Долгих и его коллег накопление знаний казалось целью самой по себе.

Не трудно определить, как исторический контекст мог влиять на формирование такого направления. Совершенно также как серьезные историки уходили с головой в эпоху феодализма, чтобы держаться подальше от истории Большевицкой партии, многие этнографы предпочли помещение своего «этнического настоящего» в неопределенное «конец XIX — начало XX вв.» попаданию в опасные воды современных «этнических процессов». (Это, однако, не говорит о том, что этнографы были безразличны к положению народов, которые они изучали. Напротив, Вайнштейн убедительно доказывает, что Долгих активно работал «за кулисами» не без личного риска, чтобы улучшить условия жизни сибирских народов. Результаты его действий — это уже другой вопрос). Специфическое направление советской этнографии не появилось, однако, как полностью сформирова-

ровавшийся в течение 1940-х и 1950-х гг. продукт сталинских репрессий. Фактически, некоторые отмеченные выше черты — сконцентрированность на этничности и описательном «фактологическом» направлении — поразительно схожи с концепциями российской этнографии периода второй половины XIX века⁸. Таким образом, тесные рамки советской идеологии могут рассматриваться не столько как препятствия, сформировавшие уникальную советскую форму этнографии, а как фильтр, пропускающий и позволяющий развиваться определенным концептуальным и методологическим направлениям, и в то же время напрочь отменяя другие. Одним из главных преимуществ книги является то, что она иллюстрирует некоторые из «затерянных» страниц русской и советской этнографии.

Лучше всего демонстрирует богатство дореволюционной этнографии статья Ю.В. Ивановой о П.Ф. Преображенском (1894-1941). Преображенский получил историческое образование в Московском университете и после гражданской войны, проведенной в Самаре, начал преподавание в стенах *alma mater* в начале 1920-х гг. В 1925 г. его назначили главой отделения общей этнологии. Благодаря этой высокой должности он быстро стал ведущим организатором и теоретиком этнологии как области науки. В этнологии Преображенский видел важную гуманитарную науку, тесно связанную с историей, но привлекающую большее разнообразие источников. Этнолог должен основываться на этнографических описаниях отдельных народов и параллельно использовать данные археологии, (физической) антропологии, фольклора и письменных документов. Преображенский особенно был заинтересован в процессах культурного взаимодействия и диффузии культурных форм. В этом на него, несомненно, повлияла учение о «культурных кругах» (*kulturkreis*), развитое на рубеже веков немецкими учеными Фрицем Гребнером и Фридрихом Ратцелем⁹. Преображенский также увлекался работами Франца Боаса в США и стоял на позиции четкого культурного релятивизма, избегая таких терминов, как «примитивный» или «дикарь». С другой стороны, Преображенский резко отвергал яфетическую теорию Н.Я. Марра, что могло приблизить его кончину в 1930-х гг.¹⁰ Представление Преображенского об этнологии наиболее полно выражено в его учеб-

⁸ См., например, знаковую статью Николая Надеждина за 1846 год (Надеждин 1847: 65-115). См. также Knight 1998.

⁹ В то время как связь между теорией Преображенского и группой «*Kulturkreis*» была очевидной, ученый предпочитал дистанцироваться от Гребнера и Ратцеля, осуждая их «почти механистический» подход и предлагая в качестве альтернативы более динамичные модели «культурных комплексов» и «культурных объединений». См. «Репрессированные этнографы», стр. 248.

¹⁰ По поводу Марра см. Yuri Slezkine 1996.

нике «Курс этнологии», выпущенным в 1929 г.¹¹ Но не успела книга выйти в свет, как все представления об этнологии как науке подверглись ожесточенным нападкам. На конференции этнографов, которая проводилась в Ленинграде в апреле 1929 г. и которую посетили все выдающиеся светила данной области, группа молодых ученых назвала этнологию дубликатом марксистской социологии¹². Преображенский смело отстаивал свою позицию, и споры продолжались еще два года. К 1931 г. появились результаты: отделение этнологии при Московском университете закрыли, а саму этнологию объявили «термином буржуазной этнографической науки, отброшенным марксистско-ленинской этнографией». Самой этнографии едва удалось выжить среди хаоса 1930-х гг. Н.М.Маторин и другие радикальные марксисты само представление об этничности в капиталистическом обществе назвали «анекдотичным», а этнографию по статусу низвели к исторической вспомогательной дисциплине, посвященной изучению «доклассового общества и его нынешних пережитков»¹³. После своего поражения Преображенский отступил и занялся более традиционными историческими исследованиями более или менее в рамках марксизма. Его арестовали в 1933 г., но вскоре освободили, однако, удача вновь покинула его в 1937 г. Его взяли за «контрреволюционную деятельность» и приговорили к восьми годам в (трудовых) лагерях. В 1941 г. ему вынесли смертный приговор за «антисоветскую деятельность в лагере» и расстреляли.

Что наиболее поражает в работе Ивановой, так это нарисованный ею непоколебимый критический образ мышления Преображенского. Мы видим ученого, который не признавал никаких непререкаемых авторитетов в науке, который постоянно вовлекал своих интеллектуальных предшественников и современников в идейный диалог, принимая одни постулаты, отвергая другие, но всегда исходя из независимой собственной точки зрения. Конечно, советская этнография после Сталина вовсе не была абсолютно лишена независимости мысли, но идеологические требования сверху сужали рамки допустимых исследований в такой степени, что теоретическая и критическая широта Преображенского стала невозможной. «Репрессированные этнографы» представляет собой важный шаг в возрождении критического духа 1920-х гг., а также являет собой свидетельство пути, который все еще должен быть пройден.

Статьи в сборнике «Репрессированные эт-

¹¹ П.Ф.Преображенский 1929.

¹² По поводу более полной информации о Конференции этнографов 1929 г. см. Slezkine 1991: 476-484; и Соловей 1998: 136-187.

¹³ «Репрессированные этнографы», стр. 255; Slezkine 1991: 481. Обе эти работы основаны на труде Маторин 1931: 3-38.

нографы» во многом напоминают жанр исследований истории русской науки, который я могу назвать, за неимением более подходящего термина, спасательной биографией*. Начиная с 1950-х гг. советские этнографы выпустили большое количество литературы о своих дореволюционных предшественниках¹⁴. Как и данная книга, эти работы служили для того, чтобы восстановить приемлемое прошлое путем установления этнографического канона, обнаруживая долгую и благородную традицию русской этнографической науки. Но для того, чтобы представить дореволюционных ученых приемлемыми предшественниками в обязательных рамках марксизма-ленинизма, необходимы были некоторые шаги. Важным фактором восстановления наследия ученых была демонстрация прогрессивной мысли, заботы о простых людях и симпатия к радикальным движениям. На любые радикальные действия, конфликты с властями, личные или профессиональные контакты со знаменитыми «революционными демократами» вроде Чернышевского, Добролюбова, членов Народной воли и т.д. ставился особый акцент. Лояльность к имперскому режиму, напротив, проходила без препон. Ученые, которым не посчастливилось попасть под гнев Ленина или проклятие советского режима после революции, оказались за чертой и могли обсуждаться лишь с принятием во внимание всего перечисленного. И, наконец, важно было показать вклад ученого в науку, обычно представляемую себе в позитивистском смысле как прямую траекторию, ведущую прямо к достижениям текущего дня.

Для исследователей истории русской этнографии эта книга дает много информации об институтах, карьерах, библиографии и научных работах. Отсутствует, однако, критическая точка зрения. С учеными, которые должны быть включены в канон этнографической науки, обращаются с почтительным благоговением: с тех пор как целью стало выставить их в качестве приемлемых предков, трудно отыскать смысл в сложных вопросах, помещении их идей в контекст современных дебатов, исследовании несопадений и выражении моральных двусмысленностей. На самом деле, сама практика критицизма для советских ученых часто ассоциируется с жестокими идеологически мотивированными нападками, которые оставляют слишком мало

* *прим. перев.* в английском оригинале «Salvage Biography». Сам автор считает, что для русскоязычных читателей следует провести параллель с «Salvage Anthropology» — направлением в антропологии, которое занимается изучением исчезающих культур.

¹⁴ Множество примеров этой литературы можно найти в серии «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии». В качестве некоторых дополнительных примеров сюда можно отнести: Баландин 1988; Колесницкая 1954; Соймонов 1971.

места для культурного, но, тем не менее, строго критического диалога. Результатом стало появление историографической традиции с духом агиографии — жизни святых.

Практически все части книги «Репрессированные этнографы» демонстрируют, хотя и в разной степени, следы традиций биографии спасения. Вероятно, было бы излишним ожидать высокую степень критической скрупулезности в книге, посвященной жертвам террора. Но, в некотором смысле, последним оправданием описанных ученых было показать их более в качестве ученых, нежели жертв, подвергая их той же интеллектуальной разборчивости, которую они проявляли по отношению к своим современникам. Авторы книги «Репрессированные этнографы» справились с очень важной задачей — вернуть этих людей назад в ученые круги. Можно надеяться, однако, что работа в этой области будет продолжаться, но внимание переключится с простого восстановления «утерянных страниц» к началу более комплексного критического исследования наследия советской этнографии.

Есть ли у современной русской этнографии приемлемое прошлое? Страницы этой книги дают ответ «да». Для восстановления наследия ранней советской этнографии необходимо сделать приемлемой традицию, история не должна молчать о жестокости, как концептуальной, так и физической, от которой пострадали этнография и этнографы. Однако рассказы об этом, чему поспособствовал труд «Репрессированные этнографы», не лишены определенного риска. Например, существует тенденция смотреть на репрессии, которым подверглась этнография, как на чисто внешнюю силу, обрушивающуюся, как стихийное бедствие, на свои невинные жертвы. Однако если главный импульс репрессий мог быть в самом деле внешним, механизмы преследования зависели от мобилизации институциональных и дисциплинарных структур изнутри. Личная обида, профессиональное соперничество, амбиции и гордость были зацепками в машине политического террора. На страницах «Репрессированных этнографов» этому можно найти множество примеров: интеллектуальные нападки на конференциях, чистка в институтах, анонимные доносы коллег. И часто сегод-

няшние жертвы оказывались вчерашними притеснителями. В этом отношении будет интересно посмотреть на личность Николая Михайловича Маторина, основополагающую фигуру марксистской этнографии времен первой пятилетки, разрушителя многих карьер, но который сам пал жертвой: его арестовали в 1935 году и расстреляли в следующем году¹⁵. Был ли он просто негодяем, который получил, что заслуживал, или следует нарисовать более утонченный портрет? В любом случае, сложно понять судьбу этнографии в 1930-х гг. и позднее не учитывая фаустовской сделки, заключенной Маториным и иже с ним.

Кроме представления репрессий в чисто внешней перспективе, авторы склоняются к тому (за несколькими исключениями, особенно в отношении Адрианова), чтобы отождествить репрессии и их результаты с Гулагом, и, таким образом, приурочивая политические преследования к годам правления Сталина. Конечно, у такого подхода есть основания. Почти все включенные в книгу этнографы были реабилитированы, хотя, в основном, и посмертно, в 1950-х и 1960-х гг. К этому времени в этнографии началось возрождение, и она заняла твердую позицию respectable академической области. Правда, однако, трудно представить, каким образом опыт 1930-х и 1940-х гг. не сумел отпечататься на этнографии как дисциплине. Кроме того, в то время как стихла волна арестов, заключений в тюрьмы и наказаний, бремя официальной идеологии продолжало тяжело давить на плечи дисциплины. Исследование продолжающегося влияния политического и идеологического климата на этнографию в течение Советского периода истории, возможно, более трудная и тонкая задача, чем простое описание жизни и судеб жертв. Это в большей степени так, если сделано не просто, чтобы утвердить или отвергнуть наследие прошлого, но и для того, чтобы понять и примириться с этим. Но подобная амбициозная попытка, как мне кажется, также является необходимой частью возрождения приемлемого прошлого, чтобы советскую этнографию вспоминали не как трагический конец, а как живую традицию, которая предлагает идеи, понятия и аналитический инструментарий для последующих годов.

¹⁵ Фактически, недавно появилась статья о Маторине. См. Решетов 1994а: 132-155. Очерк Решетова о Маторине является классическим примером жанра «спасательной биографии». Хотя Решетов и не умалчивает о «темных» сторонах жизни в карьере Маторина, большее внимание он обращает на его достижения как организатора и тео-

ретика. О действиях Маторина, настаивает он, нужно судить в контексте его времени. Возникает догадка, что статья Решетова о Маторине не была включена в «Репрессированные этнографы» из-за страха перед резким несоответствием между симпатией Решетова к его герою и фатальной ролью Маторина в этнографии.

ЛИТЕРАТУРА

- Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. 1994. «Дело славистов»: 39-е годы. Москва, Наследие.
- Баландин А.И. 1988. Мифологическая школа в русской фольклористике: Ф.И. Буслаев. Москва, Наука.
- Гаген-Торн Н.И. 1994. Memoria. Москва, Возвращение.
- Добкин А.И., Сорокина М.Ю. 1995. eds., In memoriam: исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченка. СПб, Феникс-Атенеум.
- Колесническая И.М. 1954. И.И. Срезневский как фольклорист // Русский фольклор 8. М–Л, изд.№8209; изд-во Академии наук СССР.
- Леонов В.П. 1993. et al., eds., Академическое дело 1929 и №8209; 1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ, выпуск 1, Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб. Библиотека РАН.
- Маторин Н.М. 1931. Современный этап и задачи советской этнографии // Советская этнография. № 1-2.
- Надеждин Н. 1847. Об этнографическом изучении народности русской // Записки русского этнографического общества, книга 2.
- Преображенский П.Ф. 1929. Курс этнологии. М–Л.
- Репрессированные этнографы. 1999. Составитель и ответственный редактор Д.Д. Тумаркин. Москва. «Восточная литература» РАН.
- Решетов А.М. 1994. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера, этнографические тетради, выпуск 4. Петербургское востоковедение. Вып. 4. СПб.
- Решетов А.М. 1994а. Николай Михайлович Маторин (опыт портрета ученого в контексте времени) // Этнографическое обозрение, 1994, №3. СПб.
- Соймонов А.Д. 1971. П.В. Киреевский и его собрание народных песен. Ленинград, Наука.
- Соловей Т.Д. 1998. От буржуазной этнологии к советской этнографии: история отечественной этнологии первой трети XX века. М. Координационно-методический центр прикладной этнографии Института этнологии и антропологии.
- Ярошевский М.Г. 1991. Сталинизм и судьбы советской науки // Репрессированная наука. Л.
- Adams Mark B. 1990. Eugenics in Russia 1900-1940 // The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil and Russia, ed. Adams. New York. Oxford University Press.
- Graham Loren R. 1987. Science, Philosophy and Human Behavior in the Soviet Union. New York. Columbia University Press.
- Graham Loren R. 1990. Science and the Soviet Social Order. Cambridge, Mass. Harvard University Press.
- Graham Loren R. 1998. What Have We Learned About Science and Technology from the Russian Experience? Stanford. Stanford University Press.
- Knight Nathaniel. 1998. Science, Empire and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society. 1845-1855. // Imperial Russia: New Histories for the Empire. Bloomington. Indiana University Press.
- Kojevnikov Alexei 1998. Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty Democracy circa 1948 // Russian Review 57: 1 (January 1998).
- Krementsov Nikolai L. 1997. Stalinist Science. Princeton. Princeton University Press.
- Josephson Paul R. 1996. Totalitarian Science and Technology. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press.
- Pratt Mary Louise. 1992. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London. Routledge.
- Slezkine Yuri. 1991. The Fall of Soviet Ethnography, 1929-38 // Current Anthropology 32: 4.
- Slezkine Yuri, Arctic Mirrors. 1994. Russia and the Small Peoples of the North. Ithica. Cornell University Press.
- Slezkine Yuri. 1996. N. Ia. Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenetics // Slavic Review 55:4.